

Владимир Кантор

Как мы делали литовский номер «Дело не в смене хозяина, а в отсутствии хозяина»: укромные уроки жизни. Новые мемуары Владимира Кантора на Gefter.ru

[Карта памяти](#) 09.03.2016 // 👁 493



© Edgaras Vaicikevicius [CC BY 2.0]
На улицах Вильнюса

Эпизод из советского прошлого

1. Въезжаю в тему

Литва была для русских советских интеллигентов чем-то не очень понятным, но дорогим, особенно после фильма «Никто не хотел умирать». Нет, позиция «лесных братьев», их выстрелы, совершаемые убийства, было не то, что нравилось московским и питерским интеллектуалам. Нравилось противостояние советской власти, и было понимание трагического пафоса этого противостояния. А выстрелы воспринимались как часть

искусства, киноискусства, не совсем вестерны, но что-то вроде. А Банионис даже попал в политический анекдот. Идут двое интеллигентов, впереди, не торопясь, двигается плотный мужчина. Первый интеллигент говорит второму: «Смотри, как запросто расхаживает по улицам Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев!» Второй отвечает: «Нет, ты не прав, это не Генеральный секретарь нашей партии, а знаменитый литовский советский актер Донатас Банионис». Идут, спорят, препираются. Наконец, первый не выдерживает, догоняет идущего и спрашивает: «Разрешите спросить! Вы ведь Генеральный секретарь ЦК нашей партии товарищ Леонид Ильич Брежнев? Не так ли?» И вправду в ответ знакомое всем телезрителям и радиослушателям гхеканье и заторможенная речь: «Да, гхе, именно я являюсь Генеральным секретарем нашей партии товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. А что, товарищ, гхе, какие-то проблемы?» Спрашивавший оторопело сделал шаг назад: «Да нет, товарищ Брежнев, просто я обознался». И, повернувшись к приятелю: «Ну, вот видишь! А ты — Банионис, Банионис!..»

Потом, уже в университете я узнал о Литовской (то есть Западной) Руси, где делопроизводство велось на русском языке, — Руси, сумевшей противостоять монголам; узнал, что те города, которые перешли в Литву, татары тронуть не посмели, что знаменитые князья Трубецкие были из литовских Ольгердовичей, не принявших польского католичества после унии. И о тесной связи славянской мифологии и литовской. Поразительно, что главный славянский бог Перун вырос из литовского Перкунаса. Рядом все же жили. Ссорились, воевали, но соседствовали и порой тесно дружили. Но узнал и то, что в какой-то момент соперницей поднимавшегося Московского княжества стала именно Литовская Русь. В 1386 году Литва в результате династического брака (литовского князя Ягайло и наследницы польского престола Ядвиги) приняла католичество, но те земли, где жили русские, остались православными. Они-то, эти земли, и были предметом спора. Однако через польско-литовскую Русь Московия получала начатки европейского образования и представление о начатках свободы. Именно в Литву бежал от Ивана Грозного князь Андрей Курбский. Но Российская империя поглотила эти земли. После Октябрьской революции Литва оказалась независимой, кое-как выживая между двумя монстрами — нацистской Германией и большевистской Россией.

Когда я попал в журнал «Вопросы философии» и осознал его престижность (самый крупный профессиональный журнал, позволявший к тому же себе широту взглядов), я принял как должное и то, что все советские республики (начальство, разумеется) хотели, чтобы их философы были представлены в ведущем философском журнале Советского Союза. Поэтому каждый республиканский номер журнала по обязанности курировал Первый секретарь ЦК КП данной республики. Шел третий год моей работы в журнале, год 1977-й, когда меня решили использовать в работе над очередным республиканским номером. Номер посвящался литовской советской философии. До этого момента я ни разу не был в Литве, поэтому обрадовался, что еду не один. Ехать со мной должны были двое более опытных сотрудников, самых пьющих в редакции, но об этом позже. Обрадовался, разумеется, я не пьющим попутчикам, а тому, что в незнакомом месте со мной будут люди, там бывавшие. К тому же и по чину постарше меня. Заместитель главного редактора Андрей Филиппович Полторацкий и заведующий отделом Рейнгольд Владимирович Садов (прототип моего героя Левки Помадова в романе «Крокодил»). Оба при этом были ровесники и старше меня ровно на десять лет. Рейнгольда звали просто Рене, что придавало некое философское, декартовское звучание его облику. Он и вправду был одним из умнейших людей, которых я встречал, и добрый невероятно. Над ним бесконечно подшучивали, но он никогда не обижался. Он больше всех смеялся, когда коллеги не очень с трезва сочинили на него своего рода шарж, изобразив как разыскиваемого преступника. Не знаю, почему, но в груди моих бумаг тех лет нашелся и этот листок.

Внимание !!!

Разыскивается преступник - садист (кличка "Рене")

Особые приметы:

1. Волос - пестрый, длинный, нагрисанный
2. Глаз - ухлый, с краснотой, временами тоскливый
3. Тело - атлетически-упитанное



Особенно опасен в состоянии "завязал". Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление.
Граждане! Будьте бдительны!

Шутка. Рене Садов как разыскиваемый преступник

Кажется, сочинил этот текст научный консультант журнала Сашка Разумов, сам часто ходивший с постоянным алкогольным духом, окружавшим его, но всегда прямо державший спину, которого нельзя было увидеть сбитым алкоголем с ног. Все же бывший боксер, да и сын очень высоко стоявшего чиновника.

«Берегись, Володька, — сказал он мне пред отъездом. — С тобой два таких алкогольных профессионала едут. От Андрея Филипповича ты, может, и отвертишься, но Ренька же друг, уговаривать нежно будет. Держись. Но поллитра и колбаски с собой захвати, как вступительный взнос. И не забывай, балбес, что тебе, беспартийному, доверили визит к Первому секретарю Литвы, товарищу Гришкявичусу!» Я ухмыльнулся: «Постараюсь не забыть».



Александр Евгеньевич Разумов

Алкогольную дозу, превышавшую норму, мы называли «одна ренюшечка». Рене писал много, но его съело государство, съел Левиафан, изображенный мною как крокодил по имени Левиафан. Страдания героя в романе были понятны: он мог писать свое, но привык писать за начальство, которое потихоньку съело его мозг, и он уже почти не смел, не умел быть собой. Впрочем, заместитель главреда тоже был мастер пропустить изрядную дозу алкоголя. Его доза называлась в редакции «полторащечкой». Глубокомысленные остряки-философы утверждали, что одна «полторащечка» равна двум «ренюшечкам», на что оппоненты не менее доказательно уверяли, что нет, что, напротив, одна «ренюшечка» равна двум «полторащечкам».

Так получилось, что оба старших товарища уехали в Литву днем раньше. Меня задержал главный, чтобы я досдал срочно пришедшие по моему отделу материалы. Так что я поехал вечерним поездом следующего дня. Я немного нервничал, зная твердо, что я абсолютный топографический кретин и, несмотря на подробно написанный адрес отеля «Драугистис», что в переводе означало «Дружба», и нарисованный план, непременно заплутаю. Хотя была надежда. Что русский язык, если что, выручит, доведет меня до отеля. А там уж как-нибудь. Я ведь до этой поездки и в отелях никогда не останавливался. Но меня встретил в шесть утра у вагона Рене, Ренька. Это был чрезвычайно дружеский жест. Но об этом чуть позже.

2. Разговорчик в купе

К этому моменту открытое противостояние литовских инакомыслов, тем более «лесных братьев» ушло в историю. Гордая Литва, бывшая когда-то Великим княжеством Литовским, остановившим монгольское нашествие, взявшим под свой патронаж Западную Русь, огородив ее от степняков, где официальные документы составлялись на русском языке, осталась в прошлом, став частью Российской империи, а затем Советского Союза. Спор России и Литвы, как писал Пушкин, закончился, несмотря на шум западных витий, победой России. Маленькая страна оказалась, как и прочие страны Европы, между двумя монстрами, грызшимися друг с другом, — СССР и США. На данный момент хозяином была Россия, которая под псевдонимом Советский Союз нашла, кажется, в своей идеологии хотя бы фиктивный принцип равенства и дружбы. Литовский номер «Вопросов

философии» был из серии поддержания иллюзии дружбы и равенства. Хотя все равно Москва оставалась «Большим братом». И решала все. Литовские интеллектуалы, с которыми позже я подружился, как и русские мои друзья, втайне мечтали о поддержке другого «Большого брата», с иллюзией, что друзья из СССР предлагают дружбу, а США предложат свободу и независимость. Впрямую с чужими так никто не говорил. Но, вспоминая разговоры, понимаю, что именно это было затаенным желанием, которое окорачивал страх перед репрессивными органами советской идеологии.

Пример такого разговора — купе поезда в Вильнюс. Кроме меня в купе оказалось еще двое мужиков. Интеллигентные литовские лица, один, в холщовой куртке, правда, выглядел попроще, по-крестьянски, но вид крестьянина домовитого, почти исчезнувшего в России. Волосы у обоих черные, гладко зачесанные, но у мужчины в костюме и галстук они были еще уложены на пробор. Я на вокзал приехал прямо из редакции — с портфелем и небольшой сумкой, где была смена белья и пара свежих рубашек. Думал купить что-то поесть прямо на вокзале, но не успел. Но понадеялся на чай от проводника. И сразу заказал стакан чаю и какую-то литовскую булочку. Проводник принес требуемое, сказав, что расплачиваться надо утром. Поскольку у меня была верхняя полка, то я хотел быстренько съесть булку, выпить стакан жидкого чая и завалиться наверх с книжкой. «А с нами не посидите? — спросил мужчина в галстук. — Мы вас приглашаем. У нас есть домашняя еда, вам понравится».

«Да спасибо, я не голоден, — возразил я. — Мне бы еще нужные бумаги полистать надо. Я, извините, журналист».

«Ну, журналисты умеют быстро работать. Давайте знакомиться, — он протянул руку. — Юргис, это мое имя».

«Владимир», — ответил я.

«А это мой служащий, — сказал Юргис, — его Юрайтис зовут».

Я пожал им обоим руки.

Юрайтис развязал свою котомку, достал несколько свертков, бутылку, заткнутую пробкой, пояснив смущенно: «Это домашняя водка, но хорошая. Вам понравится». Юргис кивнул подтверждающе, добавив: «Хорошая. У меня еще и элитная есть». Он поднял и положил на сиденье аккуратный чемодан на молниях, расстегнул молнию и вынул, видимо, лучшую по тем временам литовскую водку, только мне ее название ничего не говорило, вот я и забыл его. Тем временем Юрайтис развернул первый сверток, достал темный батон, похожий на «рижский», большой складной нож и круг колбасы белесого цвета, распространивший вкусный мясной запах. «Она с чесноком, не возражаете? — спросил он робко. — Но у меня еще есть и твердый сыр, почти пармезан». Я растерянно кивал, Юргис достал колбасную нарезку, а Юрайтис — большой кусок буженины, который тут же принялся резать на большие ломти. «Может, я за стаканами схожу?» — спросил я. «Не надо, — сказал Юргис, — все есть. Даже вода. А чего нет, ходим сами. Вы же гость. Доставай, Юрайтис, рюмки и быстренько за стаканами».

Первую рюмку мы выпили за Литву, в которой я никогда не был, и с пожеланием, чтобы Вильнюс и Литва мне понравились. После второй или, точнее, третьей рюмки Юргис вдруг принялся хвастаться: «Вот ты думаешь, Владимир, что едешь с простым человеком. Пишете вы, журналисты, черт знает о ком, а надо обо мне писать! Кончил я в Москве Энергетический, вернулся в Вильнюс — и мой максимум сто двадцать рублей! А у меня хорошая голова, даже гениальная. Мне социалистическая идеология не мешает, но не нужна. Жизнь делают деньги. Думал, в Штаты уехать, чтобы как бы в свою среду, но не получилось. Почему — не твое дело, но не получилось. Но я не потерялся. Давай за это выпьем. Теперь у меня два завода, да три прядильных фабрики. Вон Юрайтис директорствует на одной из фабрик. Хороший работник, а чтобы он имел на государственном предприятии? Шиш с маслом! Деньги все делают. Никакая идеология их не перешибет. Нам бы в хозяева страны не Москву, а Вашингтон! Это было бы правильно. Когда-нибудь так и будет. Служить — так за деньги. А так приходится подхалимничать

перед всяким партийным дерьмом, на лапу им давать, чтобы бизнесу не мешали. И что характерно — не мешают. Деньги любую идеологию перебивают». У него был тот тип лица, которое от выпитого алкоголя не краснеет, а бледнеет. Мы выпили по шестой, закусывая хорошим мясом, приготовленным разными способами, запивая водой. Голова у меня уже кружилась, но я держался, думая, как бы мне вежливо отвалить наверх, на свою полку, не обидев соседей. Юрайтис молчал, только разливал, кивками подтверждая слова босса. Частное предпринимательство такого масштаба, конечно, было чем-то несоветским, если не преступным с точки зрения социалистической законности. Такие формы хозяйствования, как все знали, вспыхивали время от времени в разных местах. Но психология простого советского интеллигента была устроена элементарно: «Да, — подумал я, — идеократия кончилась или кончается...»

Юргис говорил: «Москва для нас — мощное прикрытие, не позволяет нашему партийному начальству разгуляться. Говорят, что, мол, это литовская специфика, не надо нас трогать. Многие московские начальники нам по сходной цене и товар отпускают. За русскую широту, за московских друзей, которые дают нам жить, но... — он хмыкнул весело, — могут посадить не сегодня, так завтра». И пояснил: «Если себя неправильно вести будем! Впрочем, хозяина, который всем бы был доволен, не найти. Если б под Вашингтоном ходили, то же самое было бы».

И тут я невольно вспомнил отцовского приятеля, литовского художника, одно время приходившего к нам в гости. Отец тогда, помимо того что вел журнал «Декоративное искусство СССР», был теоретическим руководителем подмосковной проектной студии «Сенеж», где работали художники и дизайнеры. Причем со всего Советского Союза. Отец тогда пытался возродить производственное искусство, читал Бориса Арватова, пропагандировал Татлина, рассказывал слушателям о Баухаузе Гропиуса. Литовского художника и дизайнера Витаутаса Даугунтаса он очень хвалил. Ему вообще нравился прибалтийско-европейский подход к материалу. Даугунтас, помню, сидел у нас за столом, стройный, в хорошем костюме, сидевшем на нем очень по-европейски, вежливый, сдержанный, улыбавшийся только углами губ. Щеки у него были впалые и с глубокими, почти врезанными морщинами, старившими его, хотя он был младше отца. А выглядел старше — как человек, испытавший больше отца, хотя отец прошел войну. Говорили об искусстве, вдруг литовец сказал отцу: «Мне после лагеря трудно говорить с людьми далекими, но вы, Карл Моисеевич, мне не кажетесь далеким. Я доверяю и вам, и вашим суждениям об искусстве». Отцу, я видел, это было приятно, но с эгоистическим напором юного болвана я оборвал их разговор и принялся расспрашивать о лагере. «Иван Денисович» был прочитан, но ни ГУЛАГа, ни «Крутого маршрута», ни мемуаров Надежды Яковлевны Мандельштам я еще и в глаза не видел. Поэтому информационный голод был силен. Литовский художник говорил об этом неохотно, но говорил. Среди прочих его историй меня поразило, что треть лагеря были литовцы, как правило, с высшим образованием, попавшие туда сразу после войны. Я тут же вообразил этих высоких крепких парней, над которыми издевались чекистские недоумки, малограмотные и понимавшие только приказы начальства. И тут я задал вопрос, которого мне сегодня немного стыдно, хотя и не очень (если взять в соображение мой тогдашний возраст — шестнадцать лет): «А почему же вы не восстали, не победили их, не бежали оттуда?» Отец укоризненно покачал головой: «Ты понимаешь, что спрашиваешь? Куда они могли бежать? Везде было одно и то же». Витаутас, однако, ответил спокойно: «Владимир, я тебе сейчас скажу нечто, что ты в твоём возрасте почувствовать не сможешь. Но все же послушай. Дело в том, что в лагере все, повторяю, все, даже сильные, становились на голову ниже». Он пожевал губами и добавил: «И с тех пор я хотел только одного — быть самим по себе, ни перед кем голову не склонять. Некоторые мечтали о немцах как возможных будущих строителях новой Литвы, те, что подалеевиднее, — об американцах. А я, понимаешь, ни перед кем не хотел склонять голову. Дело не в смене хозяина, а в отсутствии хозяина. Это я усвоил намертво».

Это я и вправду намертво запомнил, эти слова стали своего рода камертоном моего отношения к людям. И тут в купе, после слов о смене Москвы на Вашингтон, я тихо начал отодвигаться от стола, заполненного едой и питьем, Юрайтис молча протянул мне лафитник с водкой и кусок буженины на вилке: «Выпей еще». Я покачал отрицательно головой, но Юргис подошел и, присев рядом, обнял меня за плечи: «Не обижай, пожалуйста, выпей». По слабости характера я не сумел отказаться, выпил, с трудом зажевал алкоголь бужениной и поплыл. «Ну, журналист Владимир, о себе расскажи тоже. Куда едешь, к кому? Ты же говорил, что в Вильнюсе никого не знаешь?» Вид у меня был далеко не партийный. Фотография немного передает облик почти подпольщика-разночинца XIX века.



Поэтому я смело назвал адресата поездки, ожидая, что и соседи по купе улыбнутся. Конечно, я уже достаточно был политически корректен, чтобы не ляпать, чего не следует. Но я как-то позабыл об этом. Да спяну мне интересно было, чтобы они поняли, что я тоже значительная птица. Хоть и выгляжу таковой. И я ответил лаконично, но значительно: «К Гришкявичусу, вашему первому секретарю».



Пятрас Пятрович Гришкявичус

Дальше случилось преображение, совершенно волшебное. Юргис отступил к своей лежанке, распрямылся и начал говорить совершенно другим тоном, тоном человека, выступающего на официальном собрании:

«За последнюю пятилетку в Литовской Социалистической Республике достигнуты значительные успехи, во много раз выросло число яслей и детских садов, школы переоборудуются, растёт благосостояние жителей. Мы свято храним память о героях Великой Отечественной войны. Даже Вильнюсское гетто не забыто, есть еврейский музей, восстановлена синагога», — видимо, уловил нечто еврейское в моем лице. Это было и смешно — смешно от карикатурности речи, и еще противно. Жаль, что не было рядом друзей, которые смогли бы оценить комизм ситуации. Противно не от того, что он был жулик. А от его слов о гетто. Я влез на вторую полку и лег лицом к стене. Дело в том, что о Вильнюсском гетто мне довелось читать книгу на английском. В книге рассказывалось, как литовцы помогали немцам вылавливать скрывавшихся евреев, своих вчерашних друзей и соседей. И о том, как возникла группа сопротивления из молодых евреев, которых снабжали пистолетами два молодых немецких лейтенанта. Старые и среднего возраста евреи не верили, что их можно просто так расстрелять. «Ведь немцы же практичны, — говорили они, — им нужны сапожники, портные, столяры. Вы собираетесь надеть глупостей». Но тоже не выдали своих внуков и детей. И вот пришел судный день, когда литовские полицаи в сопровождении эсесовцев погнали жителей гетто за город. В суматохе никого не обыскивали. Привели ко рву, где ждала немецкая зондеркоманда с пулеметами. Но и молодежь не верила до конца. Однако, когда началось побоище, они достали пистолеты и, отстреливаясь, бросились в лес, пытаясь утащить кого-то из своих родственников. Но все эти попытки кончались смертью. В итоге вырвалось человек сорок. Не хватало лидера. Он пытался вытащить отца и вместе с ним упал в ров. Ночью пошли при луне искать. Жутко рыться среди трупов, но нашли, раненого, но живого. Неделю выхаживали, выходили, старались две девчонки-медики с первого курса, дальше учиться не дали, выгнали как евреек, а потом гетто. Немцы и литовские полицаи устроили облаву, лесами ушли в Белоруссию, надеялись на тамошних партизан. Тут уж совсем плохо пришлось. Евреев те тоже не жаловали и устроили на них охоту. Кое-как отбившись, они уже в числе пятнадцати человек, полные окаменевшей ненависти, вошли на территорию Германии. Там у них было искушение. В Мюнхене им в руки попал яд и был доступ к городскому водопроводу. Всю ночь они ругались. Они были уверены, что все желают смерти евреев: и немцы, и литовцы, и поляки, и украинцы, и англичане. И после долгих споров было принято историческое решение: народы не виноваты, виноваты конкретные люди, их и надо наказывать. Только так надо жить и думать. Для меня это были не просто так слова: виноваты ли русские как таковые в лагерях, где сидели литовцы, виноваты ли литовцы в том, что сдавали евреев немецким нацистам, а сами немцы виноваты ли в двенадцати годах нацизма? Очевидно, конкретные

люди. Но что касается этого литовского жулика, то он вообще в это рассмотрение не входил.

И я заснул.

3. На халяву – без меры!

Утром я проснулся, когда поезд уже встал. Проводница будила на час раньше, но глаза не открывались. И до остановки я проспал. Толчок поезда меня поднял, я соскочил на пол, быстро подхватил чемодан и тут услышал стук в окно. За окном стоял Рене и грозил мне пальцем, мол, заставляю ждать. Я огляделся, попутчиков моих в купе уже не было, и я пошел к выходу. Рене, ожидавший меня у вагона с совершенно заплывшей физиономией и узкими от пьянства глазами, еле видными сквозь стекла очков, сказал, улыбаясь: «Если бы ты знал, что вчера было, ты оценил бы мой героический поступок. Встать было трудно, а уж доехать!.. Сам понимаешь!» Молоденькая проводница, русская, кажется, мне улыбнулась и сказала: «А ваши попутчики самыми первыми выскочили. Чем вы их так напугали?» Я погладил ее по плечу: «Бояки боятся, сами не знают чего». А те боялись, что наболтали лишнего, боялись своих длинных языков, ведь попутчик мог и рассказать кому-нибудь. Ренька, заметив мой жест, захохотал: «Ты, как всегда, к девушкам клеишься. Ну и что, дала?» Девушка отвернулась, оскорбившись и смутившись. Спьяну и с похмелья интеллигентный Рене словно сбрасывал с себя всю свою цивилизованность, как шелуху, и просыпалось в нем нечто подзаборное. «Рене, опомнись, — сказал я, и повернулся к девушке. — Извините его. Он с похмелья». «А что, девушка разве не понимает физиологических потребностей пассажиров?» Я дернул его за руку: «Пойдем, не хама. Далеко до гостиницы?» Он полуобнял меня за плечи: «Ты недооцениваешь своих друзей. Из ЦК тебя встречать машину прислали, она нас на вокзале ждет. Мы об этом позаботились». Мы шли к выходу из вокзала. «Принимают по высшему разряду, — трещал Ренька. — Вчера Сам принимал, ну. Гришкявичус Пятрас Пятровичус. Так что ты уже его не увидишь. Приказал нас ублажать, не такими словами, но смысл такой. Так что все будет замечательно». Мы сели в машину, и он спросил: «А ты догадался прихватить нам полечиться?»

Мы подъехали к высокой башне гостиницы (поверху и по фасаду шло слово “Draugistis”), вошли в широкий подъезд, подошли к рецепции, где у меня попросили паспорт, я заполнил анкету, получил ключ от номера на восьмом этаже. Мы поднялись на восьмой этаж, и Ренька сказал, что мы все живем рядом, чтобы я разобрался с вещами и заходил в его номер. Разложив в шкафу рубашки, повесив на плечики пиджак и натянув свитер, я достал из чемодана бутылку водки, шесть бутербродов с колбасой и отправился к Реньке. Он сидел на кровати перед маленьким журнальным столиком, рядом на стуле сидел с полуопущенными, как всегда, веками Андрей Филиппович, второй стул стоял свободный, ожидая меня. На письменном столе у окна под лампой заметны были остатки вчерашней пьянки. Пара пивных бутылок с недопитой жидкостью, два грязных стакана, пепельница, набитая окурками. Но три недавно помытых стакана (внутри на стекле видны были капли воды) ожидали на журнальном столике бутылку водки, которую я туда и поставил. Андрей Филиппович потер руки, взял бутылку, сорвал с нее бескозырку и разлил по треть стакана. Если читатель забыл, а то и не знал, напомним, что завинчивающихся пробок на бутылках не бывало, была крышка из фольги и чего-то в этом духе. Это была разовая крышка, назад ею закрыть бутылку невозможно. Существовало присловье. Почему на Западе бутылки с закручивающейся крышкой, а в Советском Союзе разовые? Потому что на Западе отпиют по рюмке, завинтят бутылку и поставят назад в холодильник, а у нас, открывши бутылку, допивают ее до конца. «Вот Владимир Карлович обрадовал нас, можно сказать, позаботился. Так что первый тост за него». Это была невероятно длинная для Полторацкого речь, обычно он отделялся междометиями или просто мычал. Андрей Филиппович во всей своей жизни оставался абсолютно советским человеком. После окончания философского факультета МГУ, где он учился с философскими звездами — Мамардашвили, Фроловым, Левадой и т.д., он попал в один из закрытых городов

Челябинской области, где работал секретарем огромной парторганизации. А в конце 1974 года стал заместителем главного редактора в журнале. В этом году из журнала «Вопросы философии» уволили Мераба Мамардашвили, бывшего заместителя главного редактора. Это была искупительная жертва, чтобы не закрыли журнал. Откат к партийному бессмыслию и слепоте был очевиден. Как и полагается, глупость властей привела и к перестройке и полуразвалу страны. Но это стало ясно позднее. Пока же в силу снова вошли магические заклинания. За месяц до увольнения Мераба прошло обсуждение журнала в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Я уже несколько месяцев работал в журнале и хотя был беспартийным, явиться «на ковер» велели всем. Фролов молчал, на все наскоки отвечал Мераб. Но взбесила партийно-философскую верхушку насмешка Мамардашвили над главным заклинанием советской философии. «Вот вы скажите, — крикнул кто-то, кажется, Иовчук, — как у вас в журнале относятся к ленинской формуле, что материя первична, а сознание вторично?!» Мераб передернул плечами: «В реальной философии такого противопоставления просто не существует. Это замшелый бред, если бред может быть замшелым». Он вынул из верхнего кармана трубку, но, разумеется, не раскурил ее, а просто взял мундштук в зубы. «Вы замахиваетесь на святое!!! Это же основа марксистско-ленинской философии!» — проговорил ошалевший оппонент. Мераб взял трубку в руку: «А кто вам сказал, что в мире есть только одна философия, и при этом марксистско-ленинская?» Конечно же, после таких слов оставаться в журнале, считавшемся идеологическим, Мераб уже не мог. Он-то и вспомнил про Андрея Филипповича, когда они с Фроловым перебирали кандидатуры на пост замглавного. Нужен был такой, чтобы начальство сочло партийно-выдержанным, — тут секретарь большой парторганизации закрытого завода подходил как нельзя лучше. Конечно, базовое образование — и оно было, даже кандидатом наук стал Полторацкий за эти годы. Отчасти свой и, главное, не стукач. «Халявщик, правда. На халяву пьет без меры. Да кто из наших орлов не пьет!» Мераб любил редакцию, но относился к пьянству коллег с великолепной и хорошо скрываемой аристократической иронией русского европейца. Вся Россия пьет, считал гениальный грузин, любивший хорошие вина. Как-то в редакцию приехал Борис Стругацкий (упросили выступить). Он много и красиво говорил о ситуации, которую с братом они описали в повести «Хищные вещи века», говорил о массовом сытом человеке. Ту Мераб не выдержал, прервал, извинившись, и сказал: «Массового пьяного человека мы видим постоянно, а вот массового сытого я в России что-то не встречал». Поэтому Полторацкий казался ему приемлемым вариантом. Так в журнале и появился Андрей Филиппович. Он действительно был человеком порядочным, то есть не ходил по начальству. Да и некогда было, слишком пил. Помню, как-то нас заставили писать статью к юбилею Октябрьской революции. Статью мы написали с наглостью невероятной, доводя до абсурда привычные клише. И начали с бравадного тона сразу, в первой же фразе: «Залп “Авроры” возвестил начало новой эры». Полторацкий пригласил почему-то Володю Кормера и меня и, произнося только звук «mmm», то есть мыча, ткнул рукой в начало нашей передовой. Так длилось несколько минут. «Что?» — спросили, наконец, мы. И он произнес либерально-заветное, о чем писал «Новый мир»: «Но ведь теперь известно, что залпа “Авроры” не было». Кормер сардонически усмехнулся (как говорили в редакции, улыбкой Воланда) и вежливо спросил: «А все остальное было?» Полторацкий махнул рукой и отпустил нас. Как меняется жизнь человека? Со стороны перемены кажутся неожиданными и необычными. Однако происходят. Андрей Филиппович вдруг начал манкировать работой в редакции, а потом вообще перестал приходить в журнал. Звонили домой, там что-то смутно отвечала жена о какой-то важной командировке. И вдруг пришло письмо из горкома партии с вопросом, знает ли партийная организация и коллектив редакции, что Полторацкий работает в каком-то религиозном ведомстве, чуть ли не у митрополита. Стали вспоминать, как по пьяни он иногда приставал к собутыльнику, чтобы тот прочитал наизусть «Отче наш». Но значения таким выкрутасам никто тогда не придавал. Потом, когда

все это подтвердилось, была гнусная процедура по исключению его из партии (будучи вне партии, я был и вне этих процедур), а еще через пару лет он принял сан и стал батюшкой. Причем приход получил в новой церкви, построенной в конце 80-х в парке «Дубки», где проходило мое детство. А еще через пару лет стал приходиться и в Институт философии, даже отпевал кого-то из верующих философов. Но это уже происходило в последние годы, когда православие приобрело официальный статус. На поминках с удовольствием выпивал, а когда кто-то спрашивал его, могут ли священники выпивать, отвечал священническим басом: «Не возбраняется!»

А тогда мы выпили и закусили бутербродами, которые я привез. Рене съел весь бутерброд, но Андрей Филиппович укорил его: «Рейнгольд Владимирович, это называется поеданием закуски не по делу». Рене хихикнул: «У нас же еще завтрак, и Володя к завтраку поспел. Так что еще закусим. А пока еще выпьем. В бутылке кое-что осталось. — И, обращаясь ко мне, спросил: — Главный все-таки пропустил твоего Чернышевского?» Речь шла о моей новой статье для журнала. Должен добавить, что друзей удивлял мой интерес к этому персонажу, который считался предшественником Ленина, которого уже не любили. Я-то пытался показать, что по взглядам он был прямой противоположностью вождя мирового пролетариата. «Ну, к примеру, — говорил я, — Ленин утверждал, что “цель оправдывает средства”, а Чернышевский прямо противоположное — что “характер средств должен быть таков, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели”». Мне друзья вроде бы верили и все же смотрели на мои тексты как на некую причуду в целом приличного человека. «А как он к водке относился?» — спросил вдруг Андрей Филиппович. Я как раз прочитал мемуары Короленко, который приводил слова жандармского унтера, сторожившего Чернышевского в «гиблых местах», в Вилуйске. «Это известно. Он не пил, даже в страшной ссылке, где, казалось бы, ничего другого и делать нельзя. Могу из Короленко цитату прочитать, — сказал я неуверенно, — он слова этого унтера записал». Ренька захохотал: «Давай-давай, тряхни ученостью». И я прочитал: «Когда Чернышевский придет к кому в гости и увидит на столе бутылку водки или карты, тотчас скажет: “А! это у вас водка?” или “А! это у вас карты? Прощайте, прощайте!” И уйдет тотчас домой. Непременно уйдет. Ни за что не согласится остаться. Не любил он, когда люди пьют водку. Раз был такой случай. Один из служивших при тюрьме, кажется, сторож, напился пьяным. Чернышевский стал горячиться и твердить: “он отравился!” Призвал всех, начал хлопотать... Ему все говорят: он только лишнее выпил, проспится... Так и вышло. Когда пьяный проспался, Чернышевский и говорит ему: “Зачем ты себя губишь? Зачем убивать себя?” Смешной был старик».

Андрей Филиппович выпил последнюю рюмку и задумчиво произнес: «Вот за это мы его и не любим». Атеист Садов добавил: «И еще за то, что был сын попа». Полторацкий нахмурился, сказав непонятно: «Ну, это немного осложняет ситуацию».

После завтрака, довольно скромного, но с кофе, мы отправились в университет, там должна была состояться беседа с местными литовскими мыслителями о текстах для литовского номера «Вопросов философии». Меня еще (но этого коллегам я не говорил) интересовало, знает ли кто-нибудь о Льве Платоновиче Карсавине, который преподавал здесь до прихода советских войск, в 1949 году был арестован нашими органами, обвинен в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской власти и отправлен в лагерь в Абезь (в Коми). Дело в том, что мне попались в руки его книги по Средневековью и католицизму, изданные в России в 20-е годы. Эмигрантские его работы, когда он стал апологетом православия и евразийцем, до меня тогда не доходили. Но, как бывало тогда, тамиздат доходил скорее, и я имел две рукописи последнего года его жизни — статья по эстетике и венок сонетов. Венок сонетов меня поразил. Эти строчки надо было пережить.

*Безмерная в тебе таится сила.
Являешься в согласье и борьбе.*

*Ты — Свет всецелый, свет без тьмы в себе;
И тьма извне тебя не охватила.
Ты беспределен: нет небытия.
Могут ли в тьме крошечной быть и я?*

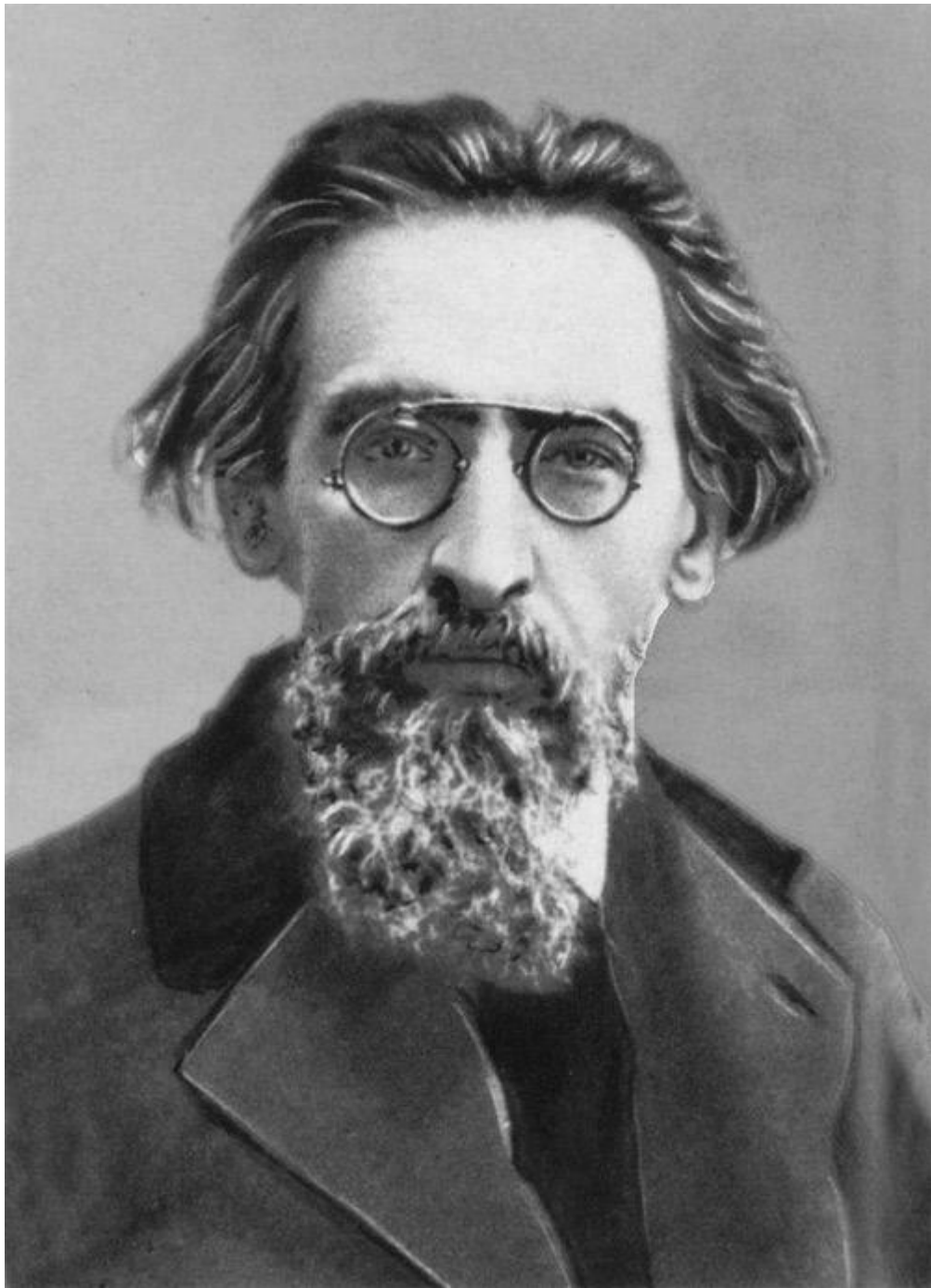
Мы живем в крошечной тьме. Как в ней жить? А мы живем. Карсавин возлагал надежду на преодоление тьмы на Вечный Свет Бога. Мои коллеги о Карсавине не знали, и подобная личная метафизика их (тогда по крайней мере) не волновала. Приведу, больше повода не будет, мое стихотворение по поводу карсавинского венка сонетов. Я долго ходил под впечатлением карсавинских строк, а потом вдруг решил написать тоже стих, и написал.

К венку сонетов Л.П. Карсавина

(в концлагере Абези незадолго до смерти Лев Карсавин написал венок сонетов)

*Наедине с самим собой...
Знак одиночества — конвой...
И конвоир, а не канва
Вдруг прочертил рисунок рва.
И ни бумаги, ни пера,
Чтоб записать как раз с утра
Те мысли, что пришли вчера,
Когда ни книг и ни друзей,
Чтоб одолеть судьбу. Скорей
Она играет с тобой.
Когда уже бессмыслен бой,
Тогда судьбе наперекор
Своей души ты тайный вор,
Слова оттуда достаешь,
А как — и сам не сознаешь.
Но лишь тогда, в тот странный миг
Выходишь к Богу напрямик.
И внятна жизни суета:
Любовь и слава — все тщета...
И что бы ни было потом —
Ты начинаешь жить стихом.*

Короче, хотел, не афишируя этого интереса, узнать, не сохранились ли какие материалы.



Лев Платонович Карсавин (1882–1952)

После высылки в Европу из Советской России в 1922 году, где Карсавин, как и другие изгнанники, жил трудно, он был вдруг приглашен в Литву в Каунасский университет на кафедру всеобщей истории. Замечу при этом, что одновременно его приглашали и в Оксфорд. Но, как сам он уже в лагере рассказывал, он хотел быть ближе к России. Надо сказать, литовский язык весьма сложный, но Карсавин выучил его настолько, что мог преподавать на языке в университете в Каунасе и написать на литовском историю европейской культуры в пяти томах. В 1940 году вместе с университетом он переехал в Вильнюс, где и прожил до своего ареста в 1949 году. То есть в Вильнюсе я мог что-то найти и узнать. Но об этом своем намерении я молчал и, как некий оруженосец, шел за двумя рыцарями советской философии.

Но к Литве, которая в сущности дала возможность жить и писать великому философу из России, русскому философу, я относился, как можно относиться к спасительной для русской мысли силе. Понимая прекрасно при этом, что литовцы, как и русские, и евреи,

бывают весьма разные. Многое зависит от обстоятельств, в которые загнан народ. Разумеется, не мог я забыть и об уничтожении евреев, но в таком случае как не вспомнить Великобританию с ее злобным антисемитизмом, корабли которой топили евреев, пытавшихся добраться до Палестины. А немцев!.. Лучше не вспоминать, говорил я себе, и помнить только хорошее.

4. Университет и ресторан

После немало я видел подхалимажа, но такого мощного, глобального подхалимства, как при организации литовского номера, я не встречал. Потом они нашли нового хозяина. Но об этом позже. В университете мы поднялись на третий этаж, нас встретил ректор и завкафедрой философии. Имена, по понятной причине, не называю. Нам раздали статьи для литовского номера «ВФ». Если честно, я нервничал: одно дело, когда в редакцию приходят авторы поодиночке, приносят статьи, ты их читаешь и обсуждаешь. А тут — мне казалось — надо сразу что-то говорить. Я вопросительно посмотрел на Садова с Полторацким. Но Ренька мне шепнул: «Не возникай. Еще в ресторан поедем обсуждать». Это я совсем не понял. Как обсуждать то, что не прочитано? Но выступать не стал. Мы все перезнакомились, выпили по чашке кофе, все литовские статьи, которые были сложены в аккуратные папочки на залипах, Полторацкий велел мне собрать в мой портфель. Сами мэтры были без портфелей и даже без папок. Но папки и шариковые ручки нам тут же выдали. Потом проректор, декан и два профессора, люди от пятидесяти (так мне казалось) до шестидесяти, вежливые, в отутуженных брюках, светлых рубашках и светлых пиджаках, благодарили нас за наш приезд и предложили пойти пообедать в ресторан. Один из профессоров протянул нам по буклету о ресторане, куда нас везли.

Буклет я на днях нашел. Ресторан «Мядининкай» (MEDININKAI) находится в Вильнюсе по адресу: ул. Aušros Vartu, 6. В Старом городе Вильнюса можно насладиться видом старейшей городской хозяйственной постройки, бывшего склада XV — начала XVI века, украшенного эффектным черно-белым сграффито. После реставрации начала 1970-х здесь открылся ресторан «Мядининкай», одно из самых известных туристических заведений советского Вильнюса. Ресторан MEDININKAI («Мядининкай») расположен в самом сердце Старого города. Туда мы и поехали на двух машинах.

Надо сказать то, о чем сейчас говорить не принято, но это было правдой в те годы.

Работая в центральном философском журнале, мы жили на грани бедности.

Командировочных денег у меня было, как сейчас помню, 46 рублей, зарплату в 120 руб. я оставил дома, а с сорока шестью рублями в ресторан по моим тогдашним книжным понятиям ходить было нельзя. Но мы пошли. Было еще у меня усвоенное с детства из очень небогатой нашей семьи, особенно маминого ответвления, убеждение, что бедность не порок и что жить на подачки и халяву нельзя. Потом прочитал у любимого Бернса (в переводе Маршака, конечно):

*Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.*

Мамины родители жили в Лихоборах (название характерное) — диком и бедном уголке Москвы у Окружной железной дороги. Водопроводная колонка метров за двести от двухэтажного деревянного домика (в котором было четыре комнаты на четыре семьи, две внизу, две на втором этаже) и общее очко над огромной выгребной ямой, которую раз в месяц вычищал «говновоз», как дети называли эту машину. Опускали в выгребную яму трубчатый шланг и качали. Запах на улице был весьма сильный, и бабушка отправляла меня гулять подальше от дома. На колонку она ходила с двумя ведрами и коромыслом, на котором несла эти полные ведра. Мне давала бидон — хоть немного, а пригодится. Все шло в дом. Каждая капля воды. После какой-то очередной реформы бабушке повысили пенсию, и она стала получать 20 рублей. Перед смертью эта сумма дошла до тридцати.

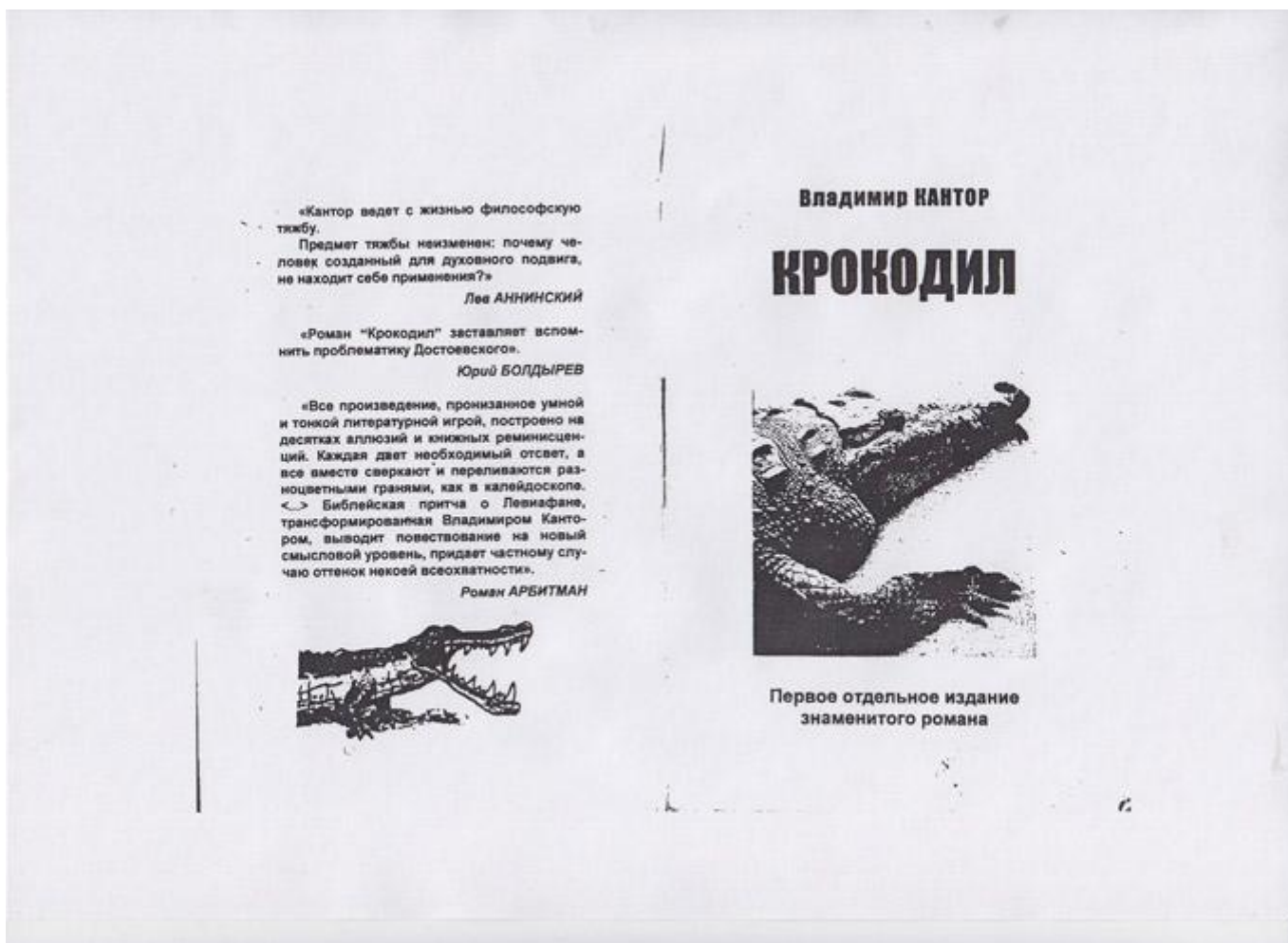
Всю жизнь сельская учительница, но в пенсионном раскладе это стоило дешево. И пища была — пшенная каша, чай и баранки, иногда сайки. Очень хорошо помню ее маленькую фигурку, искривленную от работы, с тяжелыми руками. После каждого сделанного дела подходила к красному углу, где висела икона Богородицы и лампадка, крестилась и бралась за другую работу. «Запомни, — повторяла она мне, мальчишке, — никогда не бери в долг, живи на то, что заработал. И не разрешай платить за себя, когда начнешь зарабатывать».



Отдельной фотографии у меня не сохранилось.

Это мы около домика в Лихоборах, слева бабушка Люба с моим двоюродным братом Сашей, я на коленях у деда Сережи. Мы были одеты в наши самые нарядные одежды, для фотографа — матроски. Бедность и чистота. О костюмах даже отец не думал, а он преподавал в университете. Донашивал костюмы своего отца-профессора. У меня было до поступления на работу два костюма — один на аттестат зрелости, другой по такому же почти случаю. И вот я в Литве, в Вильнюсе, в дорогом ресторане, но в старом пиджаке, который мне родители «справили» на получение диплома. То, что он не комифотный, я понял, оказавшись за длинным столом, на котором хрустальные рюмки, закуски из старых романов, водка, конечно, морс и минеральная вода. Но начали с мяса. Я смотрел, ел, выпивал и с каждой минутой все острее ощущал, насколько Российская Федерация беднее Литовской Республики, что мы почти нищие рядом с литовцами, стройными, спортивными, холеными. Рядом со мной сидел Ренька Садов, не скажу счастливый, но с довольством, похожим на счастье. Очки сползли на кончик носа, иногда он их поправлял, губы лоснились от копченой рыбы и икры, которую он густо намазывал на хлеб с маслом. Один из старших преподавателей приглядывал за нами двумя, подливая водку, когда рюмки пустели. Поначалу это было дело официантов — наливать, но проректор сказал официантам, что они сами поухаживают за дорогими гостями. И

наливали нам рюмку за рюмкой, подливали, меняли бокалы, не давая передохнуть. Так что роман «Крокодил», написанный в 1986 году, роман о том, что интеллектуалам приходилось пить — другого варианта самореализации в жизни у большинства не было, — складывался годами. Лет десять наблюдений, переживаний и алкогольных соучастий привели в результате к этому странному и трагическому тексту, где Крокодил, он же Левиафан, то есть государство (если вспомнить Гоббса), поедает интеллигента. Роман не печатали несколько лет, а потом текст понравился Самуилу Лурье и «Нева» взяла (в 1990 году), а десять лет спустя в 2002 году с помощью друзей он вышел отдельной, маленькой, но книгой.



И вот мы сидели и пили. И такого откровенного презрения к русским гостям — презрения, скрытого за завесой непрекращающегося подхалимажа, я потом не встречал нигде. Только в эту поездку в Вильнюс. У меня были потом хорошие друзья в Литве, которые были близки по взглядам. Философиня Гражина Миниотайте (увы, скончалась два года назад).



Гражина Миниотайте

Ее друг Альгирдас Дегутис, прошедший страшную советскую высылку (еще мальчишкой), думавший, уже попав в Вильнюсский университет, что либерализм — панацея от коммунизма (по слухам, ездил на стажировку в США, но вернулся в Вильнюс). Ему я звонил, когда советские танки шли на вильнюсский телецентр, чтобы было понятно, что ГКЧП — не голос российских интеллигентов, хотя взгляд со стороны литовских друзей меня иногда немного настораживал. У нас была общая философская привязанность — Мераб Мамардашвили. Для советского Запада (то есть Литвы) он был больше европейцем, чем другие советские люди. Они приглашали его с лекциями в Вильнюс. Даже в воспоминаниях Альгиса именно западноевропейскость Мераба была выделена как знак высокой культуры: **«Я помню, как встречал его на вокзале. Он выглядел впечатляюще: большая лысеющая голова, спокойный, обходительный, уверенный в себе, с мягкими манерами, стильно одетый — темно-синий свитер, желтые кожаные ботинки, в руке незажженная трубка. Он казался человеком Запада и заметно выделялся на тусклом фоне окружения»**. Но это было неприятие советизма, а не отрицание русских. А Мераб — это хорошая школа, это торжество разума против всех и всяческих мифов. Теперь Альгис — доктор философских наук, профессор, автор книги «Как возможна либеральная тирания», говорит и пишет о том, что русофобия под маской либерализма может привести Литву к катастрофе. Он писал: «Из нас создают поле боя. У нас будут бои. И что от нас останется? Ничего. За это надо сказать спасибо русофобам. Ведь эта идеология идет сверху». Конечно, литовское начальство его недолюбливало, да и недолюбливает сейчас, думаю. Все-таки, как писал Дюма, и много лет спустя остается то, что не сломать никакой политике, — понимание, что друг вряд ли станет тебе врагом. А также надо добавить, что разум, который мы принимали как основу бытия, всегда был преградой иррациональному национализму и сервиллизму. Литовским друзьям я

благодарен и за то, что они помогли мне в дни моего романа с нынешней женой, нашли квартиру, всячески опекали. Более того, они пригласили меня в конце 80-х на конференцию, подгадав ее к Рождеству, которое я справлял с ними. Интересно, что лучшим знатоком литовских рождественских обычаев оказался их друг — литовский еврей. Имени его не помню. Помню, что мы тогда говорили о том, что «москальи» по крови ближе к литовцам, а не к славянам, поскольку в Москве, Подмосковье и далее к северу обитали восточнолитовские племена (голядь и т.д.). Половина московской знати литовского происхождения. Я еще добавил о литовских корнях «величайшего русского писателя» Достоевского, о чем они не знали, а также что герой знаменитого петербургского романа писателя «Двойник» носил фамилию Голядкин.



Альгирдас Дегутис

А в тот год среди вильнюсских университетских философов мне было не по себе. Разные люди, хотя из одной вроде бы корзины, но почему они вели себя так по-разному? В шикарном ресторане мы сидели с научным официозом, и, как у любого официоза, нравственность отсутствовала, они лебезили, однако, как всякие рабы, держали лезвие бритвы наготове. Как писал Константин Аксаков,

*Раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы...
Оружье свободных людей —
Свободное слово!*

Но пока ни ножа, ни бритвы не было. Было желание утопить этих русских в водке и в их хамской привычке пользоваться чужим как своим, особенно когда чужой тебе подчинен. Я же сидел и психовал, понимая, что мы наели и напили на сумму много большую, чем мои сорок шесть рублей. Как я понимал, мы пили самую лучшую водку *LITHUANIAN VODKA Gold*, а по ресторанным ценам так и очень дорогую. Я толкнул локтем Садова:

«Рене, у меня только сорок шесть рублей. Может, пора остановить эту пьянку?» Рене с пьяноватой лаской похлопал меня по колену: «Не волнуйся, Андрей Филиппович знает, что делает». А Полторацкий, увидев, что бутылки опустели, и поведя как-то странно рукой над столом, произнес: «Да не оскудеет рука дающего». И на вопросительный взгляд литовского профессора заметил: «Еще бы три бутылки и такой же хорошей закуски, ну, рыбки, семги, севрюжки и чего-нибудь в этом духе. Только не надо нам рижскую копчущуку». Один из сотрудников подозвал официанта и протянул ему деньги, а Филиппович пробормотал себе под нос: «Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая». Заведующий кафедрой, не разобрав бормотанья Полторацкого, склонился к нему через стол и спросил: «Андрей Филиппович, мы что-то не так сделали или не то заказали?» Полторацкий досадливо отмахнулся: «Все правильно. Только я не понял, — он пьяно улыбнулся и добавил ни к селу, ни к городу, — только я не понял, верите ли вы в Бога». Завкафедрой распрямился: «Нет, конечно. Я же член партии!» Полторацкого уже несло, но он еще сдерживался, не желая портить отношения с хозяевами, только пробурчал тихо: «Какой еще партии? Партии Христа или партии Иуды?» Но эти его слова, кажется, расслышал лишь я один. Да и сам Полторацкий, кажется, просто так их сказал, не вкладывая никакого сиюминутного смысла. Надо было снова пить. А сил на это у меня уже не было. Я только начал проходить алкогольную школу «Вопросов философии», опыта пока не накопил. С тоской глядя на свою рюмку, я пригубил ее. «Нет уж, — сказал Рене, — не позорь московскую журналистику, да еще философскую». Давясь, я допил рюмку. Что было потом, помню смутно. Кажется, я проглотил еще одну, а то и две рюмки. Потом, попав в темную ночь алкоголя (в глазах стало темно), я хотел только одного — на улицу, на воздух. И вдруг на мое счастье Андрей Филиппович поднялся, сказав твердым голосом: «Ну ладно, спасибо дорогим хозяевам. А нам пора и честь знать. Довезете нас до гостиницы, мы сами там еще посидим. Только пусть нам положат в пакет бутылку вашей замечательной водки и немного закуски, чтобы в гостинице мы тоже могли посидеть». Поначалу я все порывался предложить кому-то свои сорок шесть рублей, но потом понял, что это «типичная халява», а на халяву русские люди пьют без меры.

5. Литовская девушка-комсомолка в гостинице «Драугистис». Сколько же она стоит?

Дальше сцена разворачивалась в отеле «Драугистис», на первом этаже, где стояли столики для выпивающих и игралась живая музыка, что-то танцевальное. Мы по дороге малость протрезвели, да еще и покурили перед входом в отель. Хмель немного отступил. И мы вошли в залу. Теперь, вспоминая этот эпизод, я невольно вспоминаю корчму на литовской границе из «Бориса Годунова».

Варлаам

А пьяному рай, отец Мисаил! Вытьем же чарочку за шинкарочку...

Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а ино чванство; хочешь жить, как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий

Пей да про себя разумеи, отец Варлаам! Видишь: и я порой складно говорить умею.

(хозяйке)

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка

В Литву, мой кормилец, к Луевым горам.

Григорий

А далече ли до Луевых гор?

Хозяйка

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Варлаам

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка; дело, брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Действительно, и мне в те годы, когда я выпивал, с какого-то момента не нужна была водка, а нужна была молодка. Да и Луевы горы своим откровенным хулиганством намекали опять-таки на молодку. Мы сидели за столом, заказав для приличия по чашке кофе, а сами разливали потихоньку водку и закусывали бутербродами из пакета. Точнее, выпивали Рене и Андрей Филиппович, а я, как волк, оглядывал зал в поисках поживы, то есть хорошеньких девушек. Через столик сидела компания молоденьких девушек, поглядывавших в нашу сторону. Теперь понимаю, что выглядели мы, разумеется, как приезжие, как столичные, а раз столичные, то при деньгах. Тогда мне это и в голову не пришло. Я усердно начал с ними переглядываться, надеясь на свое мужское обаяние. На сцене стояло пианино, слегка взлохмаченный парень играл что-то танцевальное. Я немножко робел подойти вот просто так к незнакомой девушке. По молодости мне всегда трудно было первому начать знакомство. Но блондинка с волосами, переходящими в рыжину, с зачесом налево, так ласково и настойчиво смотрела на меня абсолютно синими глазами, что приковала к себе мой взгляд. Такие пристальные гляделки продолжались некоторое время, пока Рене не заметил этого и не указал Полторацкому. А тот сразу заухмылялся и взял меня за плечо: «О, Владимир Карлович, да ты пользуешься успехом. Не тушуйся, бери ее за белые руки и веди танцевать, потанцуете, шампанского налей девушке, на ушко пошепчи, так и сладитесь». И Ренька приподнял меня за локоть: «Давай, Володька, вперед! Не посрами редакцию!» И я двинулся к девичьему столику, почему-то совершенно оробев. Но она сама поднялась мне навстречу, протянула руки и повела танцевать. Всему нужно учиться, танцевать тоже, но меня никто не учил.

Университетские вечера, где все танцы моментально превращались в нечто напоминавшее танго, были хороши, но приличным танцам не выучивали.

Впрочем, как быстро выяснилось, литовская девочка и не ждала от меня танцевального мастерства. Мы передвигались между столиками, я имитировал танцевальные танго-па.

«Владимир», — представился я, чтобы отвлечь ее внимание от моей неуклюжести.

«Даля», — назвалась она. «Вы литовка? — не удержался я. — Но по-русски, кажется, хорошо говорите». Она улыбнулась: «Конечно, хорошо. Я студентка, учусь на втором курсе. И комсомолка, не сомневайтесь. При мне можно все важное говорить. А вы важный человек?» Она склонила немного набок головку, улыбаясь слегка насмешливо и кокетливо. Я наклонился к ней и, прижав к себе, без стеснения и почти без сопротивления поцеловал ее в щеку, потом в синие, синющие какие-то глаза, которые она закрывала под поцелуями, но не противилась. И шептал ей в ушко, как она прекрасна, пленительна, соблазнительна. И добавил: «Конечно, важный! Абы кого в Литву не пошлют!» Она вдруг открыла губки и прижалась полуоткрытым ртом к моим губам. Моя рука невольно взялась за грудь прелестной барышни, и она руку мою не оттолкнула. «Пойдем ко мне, у меня отдельный номер, — зашептал я. — Ты красавица!» Она кивнула задумчиво, будто размышляла, потом сказала: «Пойдем». Я полуобнял ее за плечи, руку с груди снял и тихо и настойчиво повел к лифту. Но почти у самого лифта она произнесла совершенно неожиданную для меня фразу: «Но прежде я должна спросить разрешения у мамы». Я остановился, прибалдевши: «То есть как у мамы?» Ни одна из прежних моих девушек не спрашивала разрешения у своей мамы, чтобы лечь со мной в постель. Но Даля крепко взяла меня за руку и повела к маленькому столику, за которым сидели три женщины лет пятидесяти, довольно плотные на вид, и пили чай. Даля обратилась к одной из них, менее других накрашенной: «Мама, можно я пойду с этим мужчиной?» Та осмотрела меня

внимательно, потом сказала: «Да, мне он тоже понравился. Впечатление благоприятное производит. Иди. Желаю тебе хорошего вечера и хорошей ночи». И повернувшись ко мне: «Идите, Даля вам понравится. А мне оставьте пятьдесят рублей». Я хотел было ответить: «У меня только сорок шесть, но сейчас займу у коллег». Потом: «А зачем?» И вдруг догадался. Опыта с девушками из борделя у меня не было, вообще ни разу не имел дела с проститутками. Само слово казалось таким отталкивающим, что по внутреннему моему убеждению и проститутки должны были выглядеть гадко. А Даля была хороша собой: стройная, с хорошими ножками, которые видны были из-под не очень длинной юбки, груди тоже выделялись, хотя были не огромными, а, как я почувствовал, крепкие и как раз по руке. Я растерянно поглядел на ее «маму», то есть бандершу, как такие дамы назывались в романах, и сказал: «У меня деньги не здесь, сейчас принесу». И, резко повернувшись, пошел к нашему столику. «Ну что? — хором спросили мужики. — Облом?» И, чтобы не вдаваться в подробности и не показать себя маленьким, я ответил: «Увы. Облом». Ренька подвинул мне рюмку водки: «Ну, выпей тогда. И не расстраивайся. На твой век еще девушек хватит». Я выпил, стараясь не поворачивать головы, чтобы не видеть Далу и ее маму. Мне было ужасно неловко.

Минут через пятнадцать этого сидения (для меня напряженного) мы поднялись на свой этаж и расползлись по номерам. Еще два дня нас возили в разные места — на какую-то партизанскую базу, где в маленьком охотничьем домике кормили мясом и опять поили водкой. Потом свозили на полдня в Каунас, где снова был ресторан и водка. Приехав домой в Москву, я сутки приходил в себя.

Эпилог

Ничего хорошего, конечно, из этой поездки я не вынес, кроме гадкого осадка от подхалимажа солидных вроде бы людей, когда пришлось выступать в роли не то барина, не то воеводы, не то гоголевского городничего. Литовский номер вышел. Желающие могут его открыть. Это «Вопросы философии» за 1977 год, № 12.

Прошло несколько лет, и на диагностической операции в Кремлевской больнице, куда его по знакомству устроил один из авторов, скончался Рейнгольд Владимирович Садов. Я в эти годы начал ездить в Вильнюс. Просто познакомился и подружился на гурзуфской школе с молодыми вильнюсскими философами. Они присылали мне приглашения на конференции, деньги тогда у журнала были, и командировки мне оформляли легко. Потом развал СССР, как ни странно, нас развел. Не поссорил, а развел. Мы поменяли маршруты. Интереснее стало ездить на Запад, где мы ни разу не бывали, куда нас не пускали, а тут вдруг стало возможно. Это казалось невероятным чудом, которое преодолело невозможность. Но также не покидало ощущение, что это случайность и завтра все это прекратится. Помню, что в первый свой приезд в Германию появившимся там друзьям, которые приглашали меня приезжать еще, я говорил: «Вы не понимаете. Это случайно получилось. Думаю, что в первый и последний раз». Встречая меня в Германии через годы, то в одном, то в другом городе, они всегда вспоминали эти слова и смеялись. Но я, понятно, верил в то, что говорил.

В 2005 году в нашем журнале была опубликована статья литовского философа, с которым я познакомился в Вильнюсе в следующие мои поездки. Статья о Карсавине: *Павилас Ласинскас*. Лев Платонович Карсавин и Литва (1928–1949) // Вопросы философии. 2005. № 8. С. 145–167.

Многое менялось. Произошло еще одно неожиданное превращение. Андрей Филиппович Полторацкий ушел из журнала, не сказав куда, потом вышел из партии, потом ходили какие-то смутные слухи, что он служит в патриархии, типа кухонного служки, моет посуду и прибирает все. И вдруг он получает приход. Впрочем, приведу церковный некролог (при этом прошу не забывать, что служил он по партийной линии довольно долго).

«Вчера, 18 апреля 2015 года, в храме Святителя Николая у Соломенной сторожки отпевали священника Андрея Полторацкого...»



Официальные данные об этом священнике очень скудные.

Родился в 1931 году в Москве. Кандидат философских наук, доцент. До принятия сана работал заместителем главного редактора журнала «**Вопросы философии**». В 1988 году рукоположен во диакона и во иерея епископом Ташкентским Львом. Служил в разных приходах Ташкентской, Калужской и Новгородской епархий. Награды: набедренник, камилавка (1991). По выходе за штат в 1996 году был командирован для временного служения в Знаменский храм в Ховрине, а также с момента закладки служил в восстанавливаемом храме Свт. Николая у Соломенной сторожки. Заштатный клирик Новгородской епархии.

Вот и все данные. Никаких особых наград: вниманием батюшка обласкан не был ни в годы советского режима, ни в последние времена. В свои 84 года он так и остался иереем...

* * *

Неисповедимы человеческие судьбы. А мое последнее не скажу свидание, но столкновение с Литвой случилось в 2002 году. Я был тогда в командировке в Калининграде, как вдруг мне позвонил брат, потом жена, что мама в реанимации, чтобы я немедленно вылетал в Москву. Калининградские коллеги немедленно купили мне билет на самолет в этот же день. Но вылет был вдруг отменен. Сказали, что Литва закрыла небо, поскольку ждала к себе американского президента. Это был новый хозяин.

Калининградские ребята наливали мне водку, виски, у кого что было, но хмель меня не брал, хотя выпил я чудовищно много. На следующий день в аэропорту меня встретила жена и сказала, что мама умерла еще вчера, но, узнав, что я не могу вылететь, они все меня обманывали, что она еще жива и ждет меня.

Больше я в Литве не бывал. Дороги как-то не ложились. Да и не думаю, чтобы человека из России встретили там приветливо. Печально все это.

Темы: [СССР](#), [философия](#)